

Захар Дичаров,

председатель Историко-мемориальной комиссии
Союза писателей С.-Петербурга

СЛОВО ОБ УШЕДШИХ

Была ли когда-нибудь в истории человечества война, в которой принимали участие литераторы? Несомненно: достаточно вспомнить Стендаля, проделавшего с Наполеоном поход на Россию. Но война, где как военные журналисты, командиры, политработники, ополченцы, бойцы, партизаны участвовали более тысячи писателей, была единственной. Это — Великая Отечественная.

«Умри мой стих, умри, как рядовой...» — писал Маяковский. На фронтах в 1941—1945 годах умирали не стихи — погибали те, кто творил и рождал стихи и, защищая Родину, отдавал ей свою жизнь.

Более тысячи членов Союза советских писателей ушли на фронт и почти четверста из них не возвратились: погиб каждый третий.

И, однако же, в эту бесстрашную когорту не вошли многие десятки тех писателей, которые тоже не покидали передний край, каким 900 дней оставался Ленинград, но их к бойцам не причисляли, хотя, как воскликнул однажды А. А. Фадеев, «блокадник — это высшая должность!»

Людей, состоявших в этой должности, мы вспоминаем сегодня на страницах нашей книги. Они оставались в Ленинграде по разным причинам. Одни — потому что были твердо убеждены в победе: «Ленинград никогда не будет сдан!» Другие — из чувства глубокой привязанности к родному городу. Третьи считали, что не вправе бросить начатую творческую работу. Но также и те, кто решил разделить вместе с сотнями тысяч блокадников их участь.

Сколько гордых танками раздавлено!
Сколько ринулось в огонь и дым!
Сколько их погибло и прославлено!
Почему я должен быть живым? —

писал в 1943 году поэт-фронтовик Сергей Хмельницкий. И тот же самый вопрос задавали себе писатели-

ленинградцы, не имевшие сил, здоровья, чтобы взять в руки винтовку, но не покинувшие свой город.

Еще немало памятных записей, дневников, воспоминаний о днях блокады таится в семейных архивах. О некоторых мы знаем — они опубликованы в нашей книге, но далеко не обо всех.

Лишь спустя несколько лет после смерти Александры Ивановны Курошевой (13 марта 1962 года), талантливой переводчицы Шекспира, Мюссэ, Гюго, Корнеля, получило известность и признание ее поэтическое творчество.

Находясь в осажденном Ленинграде, она создала значительный цикл стихов, *«полных, — как пишет Елена Вечтомова, — скорби и гнева, веры в победу и ненависти к фашизму. В них раскрывалась ее душа, ее тонкие и пламенные чувства, ее юмор, такой драгоценный в то страшное время. Она не печатала этих стихов, являвшихся своего рода дневником в дни испытаний»*.

Нас спросят: чем тогда вы жили
В тисках блокады и зимы,
Когда вас немцы окружили,
Зажав в кольце огня и тьмы?
Надеждою, ответим мы,
Кровь согревавшей в каждой жиле...

(Январь 1943 года)

Мы не знаем, кого она имела в виду, когда писала:

— Что сделал ты для фронта ныне? —
Не спрашивай, Отчизна-мать!
Плачь о своем убитом сыне.
Ему уж нечего отдать.

(Февраль 1943 года)

Быть может, о ком-то из близких, а может быть, о товарище-писателе. И так и так — это правда. Наверное, и ей, Александре Ивановне Курошевой, становилось порой до предела тяжело, и спасали от полного отчаяния только ложившиеся на бумагу строки:

О, если бы в последний раз!
Готовы мы терпеть все муки,
Чтоб лишь из книг узнали внуки
Всё то, что терпим мы сейчас.

Сегодня в н у к а м тех, кто выстоял в блокаде, тоже уже за сорок. Они живут потому, что немецким полкам преградили путь в Ленинград их деды.

Смерть вкрадывалась в наше тело
Тьмой, стужей, голодом, цингой.
Смерть по-разбойничьи свистела,
Летя над нашей головой.

Мы шли по городу, а рядом,
Не отставая ни на шаг,
Шла смерть.

Летела смерть снарядом,
И близок был смертельный враг.

.....
Еще не нам. И этот — мимо.
Быть может, следующий нам...

(29 июля 1943 года)

Сильные, исполненные глубокого чувства стихи. Что помешало автору опубликовать их в то время? Скромность? Личные утраты?.. Не знаем. Но и сегодня они звучат как полный трагизма набат, как призыв к совести. К стойкости. К мужеству.

В те военные годы, когда с гитлеризмом шла борьба не на жизнь, а на смерть, в стране было как бы два фронта. Север, запад, юг, юго-восток — везде не прекращалось противостояние Советов против фашизма. Сначала — вражеские победы и цепь поражений, понесенных Красной Армией, потом — чередование тех и других, и наконец — только победа. Победа над гитлеровским рейхом. Полный его разгром.

Но во все четыре года войны оставался в стране еще один фронт, где не было противостояния, а только побежденные и их хозяева: миллионные полчища заключенных — лагерников, ссыльных, заточенных в тюрьмы. Это был зарешеченный тыл — рубивший уголь, валивший лес, добывавший руду, и все это — для фронта, для фронта...

В 1941—1945 годах я находился на том фронте. Он начался для меня в 1937-м и закончился спустя девятнадцать лет. Через одиннадцать лет после того, как на рейхстаге водрузили Красный флаг.

Там — на рудниках Колымы, в шахтах Воркуты, в Печорской тайге — не было голодной блокады, хотя и там, случалось, люди умирали от истощения, а значит,

голода. Там была другая блокада, осадными стенами которой сделались ложь, клевета, пытки, насилие, злобное лицемерие, — блокада нравственная, день ото дня терзавшая узников одним только сознанием того, что их сочли преступниками и врагами не те, со свастикой, что за тысячи километров отсюда обрушились на Родину, заливая ее кровью, а те, кто считался своим.

Скудной была доходившая за колючую проволоку информация, мало кто из нас, заложников сталинщины, знал, что делается в окруженном немцами Ленинграде, и вряд ли мог себе представить, как тысячи вчера еще живых назавтра превращались в трупы.

Переписки с родными я почти не имел. Сделал письменный запрос в Красный Крест о судьбе моих стариков — отца и матери. Пришел ответ: эвакуированы, но куда и когда — не сказано. И только возвратившись из Заполярья (ненадолго, правда: вскоре же, в 1948 году, последовал новый арест), я узнал, что отец умер в блокадном Ленинграде в декабре 1941 года, а мать — в январе следующего, 1942 года.

Я не знаю, где их могила. Может быть, в одной из длинных траншей на Пискаревском кладбище, может быть, в другом месте... На кладбище Памяти жертв 9 Января, на могиле одного из моих старших братьев, высечены и имена родителей. Их нет под этой плитой. Имена только символ.

В лагере нас часто перебрасывали с места на место — туда, где больше требовались арестантские руки. Нередко это была дикая таежная глухомань, куда не приходили газеты, а радио и в помине не было.

Но о Ленинграде, о блокаде что-то уже зналось. Думалось. У многих там оставались близкие, друзья. Ничего о их судьбе не было ведомо. Но и тогда, в тяжелой своей неволе, слово *Ленинград* звучало для нас как надежда, как вера в трудную, но неизбежную Победу, лишь бы он выстоял, Ленинград, лишь бы остался непобежденным. И раз он держится — значит, борьба продолжается, и, значит, есть ради чего жить.

Истощенные, опухающие от цинги и дистрофии, но все-таки живые, мы делали для фронта все, что было в наших силах. Работали. Народ, окружавший меня, — вчерашние партийные работники, учителя, инженеры, рабочие, а ныне просто-напросто «заключенные», — люди уже в возрасте. Изношенные. Позади у них оста-

валось революционное подполье, гражданская война, первые пятилетки. И мучительно суровым было сознание того, что они не там, где идут бои, и что держать в руках приходится лопату, топор, шахтерское кайло, а не винтовку.

Уходили в Москву заявления с единственной просьбой — отправить на фронт. И я сам также посылал письма. Пять раз это повторялось — и пять раз приходил ответ: «Отказать». «Врагу народа» доверять оружие не полагалось...

Горечь от недоверия, выраженного одним коротким словом, ощущение собственной отверженности от той громадной битвы, что полыхала от Черного моря до Белого, вызывали движения души, которой не под силу было молчать.

Тогда вот и слагались строки, в которых были правда вымысла и вымысел правды. В шахте, в подземелье, где пахло сырым углем и слышалось глухое постукивание обушка, мы, заключенные-ленинградцы, пытались представить себе, что там сейчас, в родном городе:

Курились ладанно надгробия домов.
И в канделябрах труб, и в темных щелях
свистели пламени. Густых дымов
ползли, свиваясь, змеи по ущельям
горбатых улиц.

А бомбивший некто
из балок погнутых, из хаоса руин,
как злобный бесноватый архитектор,
возвел для Смерти кварталы храмин...*

Ленинград не дрогнул. Израненный, почти умирающий от голода — выстоял и стал победителем. Пройдут многие годы, быть может, и столетия, а люди все так же будут задаваться вопросом: как?.. И что же это такое — патриотизм? Любовь к Отечеству? Нет, этим еще ничего не сказано.

О блокаде написано много книг — проза, поэмы, стихи, но, пожалуй, никто с такой пронзительной силой не сказал о ней, как Юрий Воронов.

Его чувства, его поэтическая зрелость формировались не в спокойные, медленные дни житейского быта. Свист и разрывы заброшенных в город снарядов, грохот

* Автор стихотворения — З. Л. Дичаров. (Примеч. ред.)

падающих каменных громад, стоны раненых — 900 дней не исчезал этот страшный звуковой пейзаж. А тишина... она была только в паузах между обстрелами и бомбежками: томительная, настороженная, как в предгрозе, тишина. Быть может, в ней и рождались тогда образы, отливавшиеся в строки — потом...

*

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом
Паспорта.

*

Я к ним подойду. Одеялом укрою,
О чем-то скажу, но они не услышат.
Спрошу — не ответят...
А в комнате — трое.
Нас в комнате трое, но двое не дышат.
Я знаю, не встанут.
Я все понимаю...
Зачем же я хлеб на три части ломаю?

*

Девчонка руки протянула
И головой —
На край стола.
Сначала думали:
Уснула.
А оказалось:
Умерла.

.....
Никто не обронил ни слова,
Лишь хрипло,
Сквозь метельный стон,
Учитель выдавил, что снова
Занятия —
После похорон.